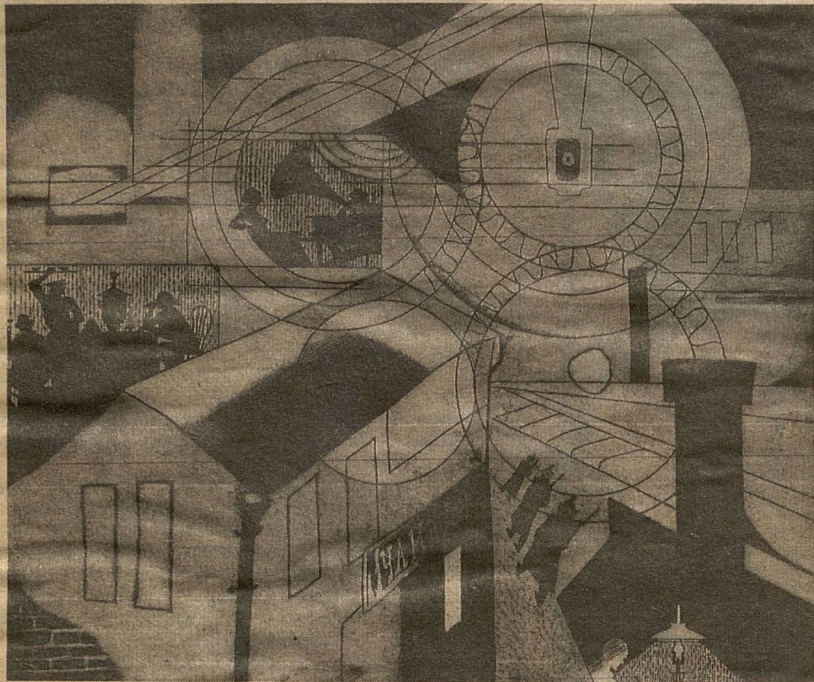




ДОКУМЕНТЫ И СУДЬБЫ

Лит. газета. - 1993. - 3 февраля (5) - 26

Триптих художницы Ирины Шиповской по мотивам поэзии Владимира Маяковского.



В этом году исполняется
100 лет со дня рождения
Владимира Маяковского

Я душу над пропастью натянул канатом, жонглируя словами, закачался над ней...

В ПЕРЕДЕЛКИНЕ лил дождь. Волнами накатывал тревожный рев снижающихся самолетов. На дачной террасе, сидя у гроба Лили Брик, старый, немощный Шкловский, задыхаясь, выкрикивал слово за словом:

— Маяковского... разрезали... на цитаты... и расклеили...

Нет, все-таки он сказал: «Великого Маяковского...» Сказал скорее для истории, чем для своих скорбных слушателей. Да еще, наверное, в пик покойному Пастернаку, который двадцать два года назад на соседней даче написал сокрушенно: «До меня не доходят эти неуклюжие зарифмованные прописи...» А намного раньше, в начале 20-х, выплеснул свое недоумение, обращаясь к самому Маяковскому:

И вы с прописями о нефти?

Маяковский ответил не сразу, но вызывающе и прямолинейно. С демонстративным азартом он нагромоздил в стихотворении «Баку» (1927) целую грудку бесхитростных прописей именно о нефти:

Нефть — это значит:
Пожалте, колонии, — в пасть влазьте!
Нефть — это значит:
владелец морей — владыка нефти —
и держатель власти.

Внутренним оправданием Маяковскому служила прекрасная идея «поэзии для всех». Усилия по ее воплощению извлекательный Мандельштам уравнивал с попытками «усесться на кол». Маяковский при этом еще и старался делать вид, что устраивается весьма удобно.

Он мечтал, чтобы его цитировали, как Грибоедова. Его и «разрезали на цитаты», неизбежно уродуя стих, выдергивая почти безошибочно так раздражавшие Пастернака «общие места и избитые истины». Впрочем, иногда и они преображались. К праздникам, например, на фасаде Центрального музея Ленина от полноты чувств педантично вывешивали огромное красное полотнище с... безнадёжным диагнозом. В пяти минутах ходьбы от мавзолея, рядом с

Кремлем, остолбенев, можно было прочитать:
Ленин

и теперь живее всех живых.

Для довершения аттракциона не хватало только брежневских интонаций. Не удивительно, что двусмысленная строчка однажды исчезла с фасада навсегда.

Конечно, Маяковский должен был написать иначе: «Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его — живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал». Но не отнимать же хлеб у Горького!

Лили Брик недоумевала, почему из множества превосходных фотографий Маяковского навязчиво тиражируется одна: ноги циркулем, руки сцеплены за спиной, взгляд мимо, исподлобья... Пропагандистский расчет очевиден. Еще в начале пути автор «Облака в штанах» свою статью озаглавил: «О разных Маяковских». А требовался монолит. Без вариантов, без движения, без противоречий.

И казенный цитатник, как он ни был обширен, укладывался в одно ломаное двуступище:

...и жизнь хороша,
и жить хорошо.

Правда, те, кому это без конца вдалбливали, рано или поздно начинали многозначительно переглядываться: проорал, дескать, что все прекрасно, и на радостях... застрелился. Заезженные строчки — легкая добыча для остроумцев. Давно напрашивалась реплика, промелькнувшая сейчас у Иосифа Бродского:

Вот и вышел гражданин,
достойный из штанин.
Тимофеев-Ресовский с ожесточением вспоминал лагерную присказку: «Моя милиция меня стережет».

Можно ли вообразить, саркастически замечала Ахматова, чтобы Тютчев, к примеру, написал: «Моя милиция меня бережет»? Но она же (в передаче Анатолия Наймана) повторяла: если бы так случилось, что поэзия Маяковского оборвалась перед революцией, в России был бы ни на кого не похожий, яркий, трагический, гениальный поэт. Да и Пастернак в пору самых суровых последних обзвонений оговаривается: «Я очень любил раннюю лирику Маяковского».

ВОСПЕВШАЯ и оплакавшая Добровольчество, Марина Цветаева считала, что в поэме «Хорошо!» (1927) «революционнойшим из поэтов» воздвигнут «памятник добровольческому вождю». Помните?

Глядя на ноги,
шагом резким
шел Врангель
в черной череске.

Чуть позже в той же поэме «засветится» пресловутая «моя милиция», не оставляя сомнений, что Маяковский далеко не Тютчев. Но, как видим, даже на соседних страницах кое-что, во всяком случае, уцелеет. Тем более — в стихах десятилетней давности. Чтобы сокрушить раннюю лирику Маяковского, пришлось бы искать изъяны в ней самой. Вернее, продолжать поиски. Ничего уже потешались над строчкой из «Флейты» (1915):

Запрусь одинокий с листом бумаги я...
И это было смешно, но не было убийственно.

Теперь наконец «убийственная» строчка найдена. Ею начинается стихотворение «Несколько слов обо мне самом» (1913). Вот она:

Я люблю смотреть, как умирают дети.
В затейном вокруг нее хороводе отчетливее всего прозвучал голос покойного Юрия Карабчиевского. Эта строчка представлялась ему столь «чуждой», что от «кошачьей гортани» ее «горбатится бумага». Такую строчку, по его словам, «никакой человек на земле не мог бы написать ни при каких условиях, ни юродствуя, ни шутя, ни играя, — разве только это была бы игра с дьяволом».

Если согласиться с Ю. Карабчиевским, то окажется, что посредником в игре Маяковского с дьяволом был... Пушкин. Ведь это Пушкин в конце семнадцатого года (разумеется, 1817-го) написал в оде «Вольность» действительно страшные строки:

Самовластный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радости вижу.

От избытка чувств Гоголь неосторожно пообещал, что через двести лет русский человек сравняется в своем развитии с Пушкиным. Отмеренные сроки стремительно приближаются, но цель осознается все более недостижимой.

Мой, Пушкин «Годунова», «Онегина», «Маленьких трагедий», «Медного всадника» по-прежнему достается нам на вырост, хотя Пушкин оды «Вольность», к несчастью, вполне воплотился в русском человеке уже через столетие.

В искупительном монологе Бориса Годунова выговорится последнее отчаяние:

...И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
Герои Достоевского откажутся от «высшей гармонии», которую пришлось бы оплатить слезинкой хоть одного замученного ребенка. Но все будет напрасно. Итог подведет Георгий Иванов:

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Словоохотливый Павел Ильич Лавут рассказывал мне, как в январе 28-го года в Свердловске они с Маяковским осматривали дом Ипатьева. Стены полуподвала были выщерблены пулями: скрыть следы от пуль никому и в голову не приходило. Это потом, через полвека, политбюро догадалось снести дом, чтобы не напоминать он о зверской расправе. А поначалу его гордились. И Маяковский, добровольный раб соблазнительной доктрины, не удержался от публичной бравады. Но в его записной книжке сохранились неожиданные, усовещивающие стихи:

Живые — так можно в зверинец их
промежду гиены и волком.
И как ни крошечен толк от живых,
от мертвого меньше толку.
Мы повернули истории бег,
старые навсегда провозжайте.
Коммунизм и человек —
не может быть кровожаден.

ОДНАКО вернемся к строчке, так глубоко возмущившей Юрия Карабчиевского, как если бы Маяковский был детским врачом, припертым на следствии к стенке.

На выставке «Москва — Париж» Михаил Соломенцев, полубог из того самого политбюро, что заматало следы в Свердловске, попытался у просвещавшей его музейной сирены, почему этот Сутин рисует себя таким уродом. Ведь мог бы, кажется, выглядеть прилично?

Вот и Маяковский ко всеобщему удовольствию мог написать, что обожает малютку, а написал какую-то жуткую, неправдоподобную, возмутительную дичь:

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Но это дичь специально вырванной

строчки, а не стихотворения, ею начато, так сказать, боевой трофей цитатного мышления.

Точно так же можно было бы ужаснуться и ложному озарению ополоумевшей няньки в чеховском рассказе «Спать хочется»: «Убить ребенка, а потом спать, спать, спать...» Тем более что 13-летняя Варька тотчас и задушила изводившего ее своим криком младенца. Но трагическая развязка у Чехова наступит лишь тогда, когда рассказ по существу будет прочитан. И, например, Эртель спокойно подытожит, что «преступление» вытекает очень логически из предшествовавшего душевного состояния девочки». Так что преступление уже как бы и не преступление. Не случайно само это слово берется в кавычки.

Собственно говоря, Маяковский начинает там, где Чехов закончил. Вот последние строки рассказа: задушив ребенка, Варька «быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...». А вот — первые строки стихотворения:

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибои смеха мгlistый вал заметили

за тоски хоботом?
А я — в читальне улиц — так часто перелистывал гроба том.

Кажется, даже слово «мертвая» учтено Маяковским (в стихах ведь не ребенок, а дети), даже мотив смеха подхвачен. И вызывающая бесчувственность, которую Маяковский заявляет вначале, объясняется тем же, что у Чехова, — душевным оупением пострадавшего человека. Только объясняется не до, а после.

То, что сейчас торопятся выдать за самоотстаацию монстра, было воплем смертного отчаяния.

...В посмертную судьбу Маяковского решительно вмешался Сталин. Борис Пастернак благодарил вождя личным письмом, потом безоговорочно осудил: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». В этой неловко подрифмованной формуле сказало больше, чем сказано.

Вводили, как картофель? Допустим. Принудительно? Разумеется.

Но принудительно введенный картофель стал вторым хлебом. А временами был и единственным.

В. РАДЗИШЕВСКИЙ